

Евгений
Войскунский

БАЛТИЙСКАЯ САГА



Евгений
Войскунский

БАЛТИЙСКАЯ САГА

 ЭТЕРНА

2018

УДК 821.161
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
В65

Дизайн – Александр Зарубин

Войскунский, Е.Л.

В65 **Балтийская сага:** Роман.: М.: Этерна, 2018. – 688 с.

ISBN 978-5-480-00397-0

«Балтийская сага» – роман о трех поколениях петербургско-ленинградской семьи, связанных с Балтийским флотом на протяжении почти всего XX века. Широкая панорама исторических событий начинается с Кронштадтского мятежа 1921 года – он, как неожиданное эхо, отражается в судьбах героев романа. Воссозданы важнейшие этапы битвы на Балтике и Ленфронте – трагический переход флота из Таллина в Кронштадт, яростная борьба морской пехоты под Ленинградом, героические прорывы подводных лодок через заминированный Финский залив в Балтику, их торпедные атаки. Но это не военная хроника – острый драматизм событий не заслоняет людей. Живые характеры, непростые судьбы, соперничество в любви.

Сюжетное напряжение не ослабевает в послевоенное время. Перестройка, реформы, крах советской системы – герои романа по-разному относятся к этим судьбоносным событиям. Споры, расхождение во взглядах – все очень непросто. Но выше всего этого – фронтовое морское братство.

УДК 821.161
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-480-00397-0

© Е.Л. Войскунский, 2018
© ООО «Издательство «Этерна», оформление, 2018

...И даже тем, кто все хотел бы сгладить
В зеркальной, робкой памяти людей,
Не дам забыть, как падал ленинградец
На желтый снег пустынных площадей.

О. Берггольц

...Великие перевороты не делаются
разнуздыванием дурных страстей.

А. Герцен

Глава первая

ОТ СУДЕБ ЗАЩИТЫ НЕТ

Вадиму было четырнадцать, когда его отец Лев Плещеев ушел из семьи. С ума, что ли, сошли? Так хорошо жили, большой семьей, и еще был жив дед, инженер-кораблестроитель Иван Теодорович Регель, мамин папа, человек с квадратной рыже-седой бородой и голубыми глазами.

К деду в выходные дни приходили играть в преферанс его друзья, тоже корабелы. Мама, Вера Ивановна, звала пить чай. Корабелы с шуточками рассаживались за старинным столом с фигурными ножками. Один из гостей, Котов, над которым посмеивались за то, что он носил суконные боты «прощай, молодость», рассказывал о своем детстве в деревне.

– Папаша у меня, – говорил он глуховатым голосом, – был, звольте-деть, свирепый мужик с пудовыми кулаками. Чуть что не по нем – такой даст подзатыльник, что вылетишь через сени во двор и в плетень врежешься. Да-а, – рассказывал Котов, мелкими глотками отпивая чай, – руки у папаша тяжелые, нрав бешеный, а вот, звольте-деть, сподобился мне образование дать. Сам отвез в Боровичи, уездный город, там старшая дочь, моя сестра, значит, жила, замужем за пожарным. Да-а. Ну, реальное училище и так далее – до кораблестроительного факультета питерского политеха.

– Борис Кузьмич, – спрашивал Лев Плещеев, отец Вадима, – а верно, что вы дружили с Евгением Замятиным?

– Ну уж, дружил! – отвечал Котов. – Взирал с почтением. Он, звольте-деть, был старше на пять лет.

Вступал в разговор, посмеиваясь, дед Иван Теодорович.

– Замятин окончил политех на два года раньше меня и преподавал по кафедре корабельной архитектуры. Уже война шла, я на Балтийском заводе работал, и однажды заявился к нам Замятин по какому-то делу. Поздоровались мы, и я спрашиваю: «Евгений Иванович, у вас в рассказе “Алатырь” почтмейстер-князь рассуждает, что эсперанто объединит весь мир и настанет всеобщая любовь. Он, этот князь, вами придуман или с природы взят?» Замятин, хе-хе, посмотрел на меня иронически и говорит: «Голубчик, я забыл логарифмическую линейку, будьте любезны, дайте мне свою на полчаса»».

И заговорили они, корабелы, о Замятине горячо. Одни осуждали за то, что покинул Россию, другие выражали понимание: мол, писателю нужна свобода... полноте, сударь, никто ему не мешал... да как же не мешали? После «Уездного» ничего крупного не написал... Да-а, «Уездное»... звольте-деть, его Анфим Барыба в точь был, как у нас в уезде урядник... такая же страшная фигура-с... ну да, еще бы – воскресшая русская каменная баба... беспощадный каратель...

– Борис Кузьмич, – остро глядел сквозь очки на Котова отец Вадима, – я бы хотел написать очерк о вас для «Ленправды».

– Чего вдруг? – медленно удивился Котов.

– Вы, Борис Кузьмич, прямо-таки воплощение человека из низов, которого советская власть...

– Полноте, сударь. Я, конечно, от ворон отстал, но к павам не пристал-с.

– Да какие павы? Их нет давно.

– Прежних нет, а новые появились. Не надо никаких очерков.

Когда корабелы, закончив преферансную пульку, разошлись по домам, Вадим слышал, как дед сказал папе:

– Лева, не приставай к Котову. Его проект засекречен, цензура не пропустит статью о нем.

(Лишь годы спустя Вадим узнал, что дядя Котов, человек с незаметным «простонародным» лицом, небрежно одетый, в старомодных суконных ботах, был одним из конструкторов первых советских сторожевиков. Целый дивизион этих кораблей скатился со стапелей на балтийскую воду – «Ураган», «Снег», «Буря», «Тайфун» и другие, тоже с неприятными названиями. Прозвали их на флоте «дивизионом хреновой погоды» – вообще-то не «хреновой», а иначе.)

Лев Плещеев, сын уездного землемера из Олонца, гимназию окончил в Петрограде в шестнадцатом году и, по его словам, «кинулся в революцию». Нет, шашкой не махал, не мчался в конной лаве на беляков, но повторял полюбившиеся строки Багрицкого: «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед». Да и сам с молодых лет сочинял стихи, потом на прозу перешел. Слог у Льва был, как тогда требовала жизнь, вздыбленная революцией, возвышенный, исполненный патетики, – его очерки стали печатать в «Красной газете». Так оно и пошло – Лев Плещеев сделался в Петрограде–Ленинграде заметным журналистом.

Но главным событием своей жизни он считал именно *кронштадтский лед*. В памятном двадцать первом году учился Плещеев на морских командных курсах. В марте вспыхнул в Кронштадте мятеж, несознатель-

ная матросня, клёшники, поддались антисоветской агитации бывшего царского генерала, ну и, конечно, анархисты и эсеры там устроили бузу. Пришлось стягивать на северный берег, к Сестрорецку, и на южный, в Ораниенбаум, верные советской власти войска. На ультиматум, подписанный самим предреввоенсовета республики Троцким, мятежники, наглости набравшись, не ответили. Командарм 7-й армии Тухачевский отдал приказ о взятии Кронштадтской крепости штурмом.

Группа курсантов, в их числе и Плещеев, в составе сводного полка в ночь на 8 марта сошла с южного берега на лед и двинулась к Кронштадту. Идти было трудно, лед сверху подтаял, под ногами хлюпала вода, курсанты оскользались, тихо матерились. Как ночные привидения, брели в белых халатах, надетых для маскировки. Однако дозоры мятежников разглядели их. Заметались прожекторные лучи. И началось такое...

Кронштадт бил тяжелыми орудиями (два линкора же там взбунтовались), разрывы снарядов буравили лед, выбрасывая гигантские фонтаны дыма, огня и воды, небо рвалось и грохотало, пульсировало багровыми вспышками – да нет, невозможно пройти – к чертовой матери...

Плещеев потерял себя. Да и не он один. Повернул и, пригнувшись, пустился бежать назад, к южному берегу, к спасению...

Какое там!.. Размахивая наганом, встала, освещенная прожектором, огромная фигура в белом, черные усищи поперек красного лица.

– Куда-а, так вашу мать!! – заорал ротный, покрывая грохот разрыва. – Застрелю, так вашу пушку-бляшку-р-растакую...

Опомнился Плещеев – ну красный же боец, – пересилил себя, побрел сквозь огонь на крепость Кронштадт...

Нет, не прошел в ту ночь сводный полк, только-только зацепился за берег Котлина, две роты потерял – отступил. Шедший левее 561-й стрелковый полк тоже не прошел, и говорили, что один его батальон передался мятежникам. Части северной группы, наступавшие с Лисьего Носа, тоже не имели, как говорится, успеха. Да какой там успех, если в Кронштадте пушек, как у ежа иголок, – разве подступишься?

Прибыло в Ораниенбаум пополнение – свежая 27-я дивизия, так в трех ее полках бойцы замитинговали – «не пойдем на лед!» «Самого» товарища Дыбенко отказались слушать, как он стал кричать и совестить их. Конечно, по революционной строгости, их разоружили, арестовали зачинщиков – ну как положено.

Но мятеж-то подавить надо. Красная Горка, переименованная в форт Краснофлотский, ударила по Кронштадту. Вступили и другие тяжелые орудия, подвезенные на северный и южный берега. Аэропланы полетели, сбросили тысячи фунтов бомб, норовили в линкоры по-

пасть – «Петропавловск» и «Севастополь». Кронштадт, конечно, отвечал тяжеловесным огнем.

А красный боец курсант Лев Плещеев, вы поймите правильно, был сам не свой: не мог себе простить, что струсил там, на льду. Стыд и позор! – корил Лев себя, с головой накрывшись жидким одеялом в нетопленной казарме в Ораниенбауме, в Военном переулке. Вот крикнуть бы сейчас: «Товарищи бойцы! Друзья-курсанты! Перестаньте храпеть... взгляните на меня... Мечтал в пламенные герои... ну как же, “выросли мы в пламени, в пороховом дыму”... а получилось – “бежал Гарун быстрее лани...” Но послушайте, братья! Никогда, никогда больше не повторится, чтоб я, Лев Плещеев, повернул вспять и побежал с поля боя... Никогда!»

И верно: в ночь на 17 марта, когда снова пошли на штурм красные полки, он, Лев Плещеев, шел по льду наравне со всеми, можно сказать, призраками в белых халатах, шел сквозь прожекторный свет, сквозь огонь, обходя воронки – полыньи с черной водой. А воды было на льду с пол-аршина, почти по колено, оттепель же, страшное дело... Пали, сраженные осколками снарядов, в воду... Но те, в кого не попали, шли и шли врассыпную... В обход форта, как его, «Милютин»... Вот из тумана проявился темный котлинский берег, дома, трубы, а левее что-то горело.

Ноги не шли, усталость страшная... А с берега – уже и пулеметный огонь... «Вперед, вперед!» – дико орет кто-то... Да уж, не назад же... Кто назад повернет, тот на цепь заградотряда нарвется, и привет... «Вперед! Дашь Кронштадт!»

Под утро уцелевшие бойцы Южгруппы прорвались в Кронштадт. Долго бились у пристаней. Еще помнил Плещеев, как в конце дня заняли водокачку.

Сам не свой был красный боец Лев Плещеев – не только от страшной усталости, но и от подавленного внутри себя страха. Перебежками продвигались по какому-то переулку. Из двух неосвещенных окон били из винтовок. Плещеев залег в яму, среди вывороченных разрывом снаряда булыжников, и стрелял в те окна, пока в подмышке не осталась последняя обойма. Но и оттуда, из окон, огонь редел. Грязный мокрый маскхалат Лев давно сбросил. Бушлат тоже был мокрый насквозь – весь он, красный боец Плещеев, состоял из мокрых костей и голодного ледяного нутра. И сил никаких уже не было, вот заснуть бы в этой чертовой луже...

– Пошли! – крикнул рябой Карпухин, командир отделения. – В тот подъезд! – и ткнул Плещеева прикладом в плечо. – А ну, подымайся, лохматый!

Втроем – Карпухин, Плещеев и молодой курносый боец, беспрерывно сплевывающий, – поднялись по темной лестнице, по скрипу-

чим ступенькам, на второй этаж, вышибли дверь и вошли в квартиру. И тут было темно, электрическая станция не давала света, только в кухне слабо светилось.

Ворвались в кухню. Там женщина в сером, нагнувшись, бросала поленья в горевшую плиту; ребенок, босой, одетый тоже во что-то серое, держался за длинную ее юбку и тоненько пищал, скулил.

– Кто тут стрелял?! – свирепо заорал Карпухин.

– Что ты, что ты, никто не стрелял, – быстро заговорила женщина. У нее голова была повязана старушечьим темным платком, но лицо молодое, глаза испуганные. – Что ты, солдатик, как можно... никто не стрелял...

– Карпухин, сюда посвети! – Плещеев разглядел винтовочные стреляные гильзы в углу. Было похоже, что гильзы впопыхах затолкали под комод, но две штуки не успели, что ли, запихнуть.

– Ну точно! – гаркнул отделенный. – И воняет порохом.

Ворвались в комнату, заставленную темной мебелью. На кровати сидела старуха, по виду ведьма: нос крючком, глазищи недобрые. На другой кровати кто-то спал, завернувшись с головой в одеяло с синей полосой в ногах.

– А это кто? – Карпухин поставил лампу на стол и ткнул спящего в плечо. – А ну, вставай!

– Не трожьте его, – прошамкала старуха, – он больной... старый... заразный он...

Карпухин тряс спящего:

– Больной, не больной, один хер, вставай!

Курносый боец откинул одеяло там, где ноги спящего, – ноги были обуты в короткие сапоги. Карпухин сдернул одеяло, заорал:

– Вставай, гребаный!

Спящий – никакой не спящий он был – медленно сел на кровати. И никаким не был стариком – ну, лет сорока, крепкий мужичок с желтой встрепанной волосней и усами. В мятом темно-сером пиджаке. Исполдбья глянул на Карпухина.

А тот – неистово:

– Ты стрелял из окошка?!

Из-под желтых усов – хриплое:

– Нет.

– А почему одетый-обутый под одеялом? – Карпухин вдруг схватил мужичка за руку: – Вот! – У мужичка между большим и указательным пальцами была наколка – синий якорек. – Вот! – орал Карпухин. – Клёшник, так твою мать! Куда винт упрятал?!

Дернул желтоусого за руку, тот вскочил, оказавшись чуть не двухметрового роста, – в следующий миг Карпухин отлетел от удара

в лицо – повалился на колени старухи-ведьмы, та – в крик, и молодуха в дверях – в крик, а желтоусый выкрикнул: «Сволочи! Революцию загубили, гады!» – и кинулся к двери, но курносый боец, живо вскинув винтовку, выстрелил, и Карпухин стрельнул из своей. Мужичок коротко застонал и рухнул ничком у ног молодухи.

– А-а-а-а!.. – завопила она, упав на колени над дернувшимся и замершим телом. Босой ребенок рядом с ней визжал, широко разевая рот.

Карпухин, с разбитым до крови рябым лицом, оттолкнул женщину и перевернул мужичка на спину. Тот лежал без дыхания, без жизни, в мятом пиджаке, из ворота которого виднелась матросская тельняшка.

– Все, – сказал Карпухин. – Приказ был, кто с оружием, тех в плен не брать, а на месте... Пошли! – скомандовал он.

Курносый боец сплюнул и двинулся за ним. Пошел и Плещеев, еле передвигая ноги, словно схваченные ужасом.

Бальмонт был виноват. Да, тот самый Константин Бальмонт, символист знаменитый.

На курсах была библиотека, небольшая, из случайных книг, вывезенных из буржуйских домов. Такая блажь пришла в голову начальнику курсов: мол, пусть курсанты, будущие командиры Красного флота, читают не только наставления по морскому делу, но и книжки – ну, конечно, такие, в которых нету контрреволюции. За библиотекой присматривала, выдавала книжки курсантам девица Вера. Тихая, голос тонкий, а еще тоньше – талия, вокруг которой, наверно, можно было сомкнуть пальцы двух рук. Черная челочка ниспадала на огромные, в пол-лица, глаза, а в глазах такая разлита голубизна, какая в петроградском небе бывала только на Пасху (само собой, в старое время).

Курсант Лев Плещеев и утонул в этих голубых озерах, в глубине которых мерцало что-то такое... непонятное... Он и вообще-то имел пристрастие к чтению книжек, и особенно – к стихам. А тут еще и голубоглазая дева, будто сошедшая со старых рождественских открыток (были такие у плещеевской богомольной мамы – там, в Олонце). Говорили промеж себя курсанты, что эта Вера с немецкой фамилией Регель была дочерью корабельного инженера с Балтийского завода, на котором прежде работал слесарем-сборщиком товарищ Акимов, ныне начальник курсов. И вроде бы папа ее, Регель, сидел, понятное дело, в Чека. Но кто-то из новой власти (да не сам ли Акимов?) поручился за него, что он не эксплуататор трудового народа, и спас от неминуемого расстрела.

Так ли, нет ли, а Лев Плещеев в юную деву Веру влюбился с первого взгляда. Женская красота на него сильно действовала, – еще учась в гимназии, он это понял. А тут к тому же Бальмонт...

Надо сказать, что у папы Плещеева, олонецкого землемера, стояли на полке книжки, не только относящиеся к его земельной профессии, но и сочинения Некрасова, Пушкина, Лермонтова, Жуковского. Стоял, между прочим, и томик Плещеева Алексея Николаевича, – нет, родства между ним, дворянином, хоть и опальным, и разночинцем-землемером не было никакого, просто однофамильцы (хотя, допускал землемер, что кто-то из предков мог быть крепостным у предков поэта, а ведь крепостным, бывало, давали фамилию барина). После Некрасова и Кольцова был Алексей Плещеев любимым поэтом олонецкого землемера. «Вперед без страха и сомненья», – часто напевал он плещеевское стихотворение, считая его (и, вероятно, справедливо) марсельезой поколения петрашевцев.

От папаши, верно, и унаследовал Лев Плещеев любовь к русской поэзии. А тут, на курсах, в тесной библиотеке, высмотрел он книжку стихов «Будем как солнце» Константина Бальмонта и принял ее из маленьких рук голубоглазой девы как дар своенравной судьбы.

Надо сказать, что и она, Вера Регель, обратила внимание на этого курсанта с давно не стриженной рыжеватой гривой, с правильными чертами юного лица, несколько подпорченными восторженным выражением карих глаз. В комнатке, заставленной книжными полками, сидела Вера за столиком, какие в буржуйских домах называли ломберными, и с неясной улыбкой на розовых губах слушала, как этот курсант пылко говорил:

– В великое время живем, товарищ Вера! Перестройка всей жизни идет.

– Вы правы, товарищ курсант, – тонким голосом отвечала дева. – Только вот – печки нечем топить. Как бы не замерзнуть.

– Не замерзнем! Новую жизнь построим, и дров будет – сколько захочешь.

– Мне много не надо...

– Все леса на планете будут наши, да! – и, прикрыв пылающие глаза, декламировал странный курсант Плещеев:

*Так-то, темный лес,
Богатырь Бовá!
Ты всю жизнь свою
Маял битвами.*

*Не осилили
Тебя сильные,
Так дорезала
Осень черная...*

– Откуда это? – интересовалась Вера.

– Кольцов это! Какой поэт! А вот из книжки «Будем как солнце» Бальмонта...

– Бальмонта, – поправила Вера.

– Да? – Ну пускай Бальмонт. – и, прикрыв глаза, шпарил Плещеев наизусть:

*Ты мне понравилась так сразу оттого,
Что ты так девственно-стыдлива и прекрасна,
Но за стыдливостью, и сдержанно и страстно,
Коснулось что-то сердца твоего...*

– Ну и память у вас, курсант Плещеев, – улыбалась Вера.

А он, поощренный, еще охотней свою память, и впрямь удивительную, выказывал:

*Если можешь, пойми. Если хочешь, возьми.
Ты один мне понравился между людьми.
До тебя я была холодна и бледна.
Я с глубокого, тихого, темного дна...*

Тут прервал их интересную беседу курсант Лысенков – втиснулся книжки поменять. Помигал на Плещеева и уставился, как некто на новые ворота, на книжную полку. Вера помогла ему, неторопливому, выбрать книжку для чтения: «Похождения Рокамболя».

– Это очень интересно, – сказала. – Про разбойника французского. Записать вам?

Лысенков пожал могучими плечами, попытался прочесть фамилию автора: Пон-сон дю Те...

– Дю Террайль, – подсказала Вера. И, когда Лысенков наконец выбрался из узкой двери вон, спросила: – Ну и что же та русалка с тихого дна?

Шел холодный октябрь двадцатого года. Петроград, похоже, погружался в зиму, минуя осенние месяцы. С вечно темного, навалившегося на городские крыши неба сыпался ранний снег – днем таял, по ночам подсыпал опять. Почти не утихал резкий ветер, бороздя и возмущая Неву угрозой наводнения. Рано темнело, и были перебои с электричеством. Останавливались трамваи, всегда переполненные, обвешанные пассажирами.

Вере трамваи не требовались: от 4-й линии Васильевского острова, где она квартировала с родителями, до 11-й линии, где помещались курсы, можно было и пешком. В один из октябрьских вечеров, когда

Вера возвращалась с работы, на углу Большого проспекта и 8-й линии на нее напали двое, она побежала с криком о помощи, но улицы были пустынные, те двое, матерясь страшно, догнали ее и отняли старую оконную раму, которую она несла для топки. (Эту раму, найденную на чердаке, ей Плещеев принес в библиотеку.)

С того вечера Вера – в те дни, когда приходила на работу, – оставалась ночевать в библиотеке: устроила там на деревянном диванчике лежанку. Из дому принесла подушку и мягкий коричнево-клетчатый плед.

– Папа категорически запретил выходить вечером на улицу, – сказала она Плещееву.

– Правильно, – кивнул тот. – Ничего хорошего там нет, на улице.

В тот вечер не было электричества. Вера зажгла керосиновую лампу. За окошком посвистывал ветер, швырял в темное стекло пригоршни снега.

– Говорят, в Питер к Горькому приезжал английский писатель, – сказал Плещеев, засидевшийся, как обычно, в библиотеке. – Ты слышала?

– Да, – сказала Вера. – Слышала. Завтра придется пойти в Черезьютон, просить, чтоб дрова выдали.

– Пусть отец сходит. Там очереди огромные.

– Папа заболел. И мама еле ходит. Еще ни разу дров не выдали этой осенью. Совсем с ума сошли там.

Она взмахнула рукой в сторону окошка. Плещееву вдруг ужасно захотелось поймать эту маленькую руку – поймать и не отпускать. Большеглазая девушка в синем вязаном жакете, сидевшая перед ним, отбрасывавшая странно мятущуюся тень от лампы на книжные полки, притягивала его, как север притягивает компасную стрелку. Лампа горела неровно, что-то в ней потрескивало.

Плещеев читал наизусть:

*Я был желанен ей. Она меня влекла,
Испанка стройная с горящими глазами...*

Метался огонек в лампе от его пылкой, нараспев, декламации. Он читал:

*Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
Из сочных гроздий венки свивать.
Хочу упиться роскошным телом,
Хочу одежды с тебя сорвать!..*

Вера вдруг встала и подошла к Плещееву, вплотную. Он вопрошающе заглянул в глаза-озера, в глубине которых мерцало что-то непонятное.

– Хочешь быть смелым, – быстро сказала Вера, – так будь...

Опыта таких отношений у Плещеева не было (если не считать единственного, в Олонце, случая, когда великовозрастная девица, помощница отца по землемерному делу, затащила его, пятнадцатилетнего гимназиста, на сеновал). Не было и у Веры – вовсе. Но то, что произошло в тот октябрьский поздний вечер на деревянном диване, при колеблющемся полусвете керосиновой лампы, стало началом их супружеских отношений.

Тут следует пояснить, что родители Веры – особенно Иван Теодорович, происходивший из старого рода остзейских немцев, – настаивали на закреплении оных отношений, а именно на регистрации брака. Когда же Плещеев обратился к начальнику курсов за разрешением на женитьбу, тот удивленно поднял брови:

– Да какая такая женитьба, товарищ курсант? Не старое время ноне. Свободная пролетарская любовь ноне.

И сослался товарищ Акимов на полезную в этом смысле книжку руководящей пролетарской женщины Коллонтай «Новая мораль и рабочий класс». В библиотеке курсов такой книжки не имелось, но смысл ее и так был понятен. Новая мораль – она и есть новая. Хотя Ивану Теодоровичу она не нравилась. Впрочем, у него и поэт Бальмонт был не в чести. (Иван Теодорович, если хотите знать, больше всех любил Шиллера.)

А зима надвинулась холодная и голодная. Хотя и кончилась война (на юге скинули Врангеля в Черное море, на западе – чуть было до Варшавы не доехали), недаром же песня сложилась про то, что «от тайги до британских морей Красная армия всех сильнее!», – кончилась, кончилась война наконец-то, а в Петрограде зима шла беспокойная. Паек срезали до полутора фунтов хлеба. И продолжали стоять на дорогах заградительные отряды, – у тех, кто вез в Питер из деревни какое-никакое продовольствие, отнимали мешки по революционному декрету.

И другое дело, большое недовольство вызывал Чрезъутоп, то есть управление чрезвычайного уполномоченного по топливу. Если в прежнее время дров всегда хватало, на Сенной площади деньги заплатить – тебе в тот же день привезут сколько хочешь, хоть целый воз, то теперь они, дрова, неизвестно куда подевались. Распределяли их люди хмурые и грубые, выдачи были скудные, и очень они трепали нервы обывателям. Однажды в ноябре (еще в те дни не встала Нева) объявили выгрузку дров с барок, тысячи людей работали с утра дотемна на пристанях. Работал на разгрузке и Иван Теодорович. В тот безумный день, пронизанный ледяным норд-остом, он, видно, и подхватил сыпнотифозную вошь. И свалился с сыпняком, – такая получилась страшная плата за разгрузку барки.

Иван Теодорович выжил: крепкий был мужчина, основательный. Но слегла его заботливая жена Полина Егоровна, и уж ее, ослабленную недоеданием и вообще трудной жизнью, сыпной тиф доконал. Перед кончиной она, глядя на Плещеева угасающими глазами, прошептала: «Веру спасите...»

Нет, Вера не заразилась, не заболела. Откуда в ней, тростиночке, столько обнаружилось жизненной силы? Бог весть. Иван Теодорович, страшно исхудавший, пытался помочь дочери. Тонким своим голосом Вера командовала: «Папа, ложись и лежи. Я сама». Растапливала буржуйку – чугунное чудо в середине комнаты (после уплотнения в девятнадцатом году им, Регелям, из четырех комнат оставили одну, правда, большую, бывшую залу с лепными гирляндами по углам потолка), варила пшеничную кашу, черный чечевичный суп. Молола в кофейной мельнице сушеные картофельные очистки – заваривала их вместо исчезнувшего колониального продукта чая. В очередях стояла за пайком – хлебом, крупой и селедкой.

А что Плещеев? Конечно же, как только получал увольнение, он мчался, быстроногий, на Четвертую линию, к Веруне (так называл он свою ненаглядную). Каждый раз приносил то пару поленьев, то обломок доски, а то – горбушку черняшки или не съеденную за обедом вареную воблу, завернутую в «Красную газету». Между прочим, в этой газете дважды уже напечатали его заметки. В них Плещеев не просто описывал, как учатся на курсах будущие командиры Красного флота, а выражал безусловную уверенность в победе коммунизма над разрухой и другими временными трудностями жизни и, конечно, над мировой буржуазией и прочими классовыми врагами. Умел Плещеев находить нужные слова для повышения революционного духа у читателей-обывателей.

Тревожная зима и курсантов подняла по тревоге. В феврале на многих заводах Петрограда начались забастовки. Рабочие на митингах требовали – от своей, можно сказать, пролетарской власти – прекратить уменьшение выдачи хлеба. Да и не только хлеба – требовали свободной торговли, свободного перехода с завода на завод. На Трубочном заводе, что на Васильевском острове, кроме пайкового вопроса вписали в резолюцию требование *перехода к народовластию*. Это как понимать, товарищи?! Исполком Петросовета постановил закрыть завод и начать там проверку. Утром 24 февраля трубочники вышли на улицу. К ним стали прибиваться рабочие с других заводов, – огромная толпа собралась на Васильевском острове на митинг, не предусмотренный властью. Это что ж такое?! Разогнать крикунов! А кого – на разгон? В гарнизоне тоже недовольство, замечено, что красноармейцы ходят по домам, предлагают что-то обменять на хлеб. Были случаи отказа от нарядов

из-за отсутствия обуви, теплого обмундирования. Ну, у красных курсантов с пайком получше, и сапоги не драные, – поднять их по тревоге!

А как ощущал себя Плещеев, медленно надвигаясь в цепи курсантов, с винтовкой наперевес, на толпу недовольных, рассерженных людей? *Странно* было Плещееву. Неуютно как-то. Не на буржуазию шли они, курсанты, угрожая расстрелом. Не на белогвардейцев, не на врагов рабочего класса, – именно на рабочий класс и надвигалась цепь красных бойцов... Черная (в бушлатах) шеренга на слитную серую массу... Только бы не скомандовали открыть огонь по братьям по классу... Кто-то зычно кричал в рупор: «Разойтись! Разойтись!»

Уж и то хорошо, что обошлось без крови. Медленно, неохотно расходились бастующие. В тот же день на экстренном заседании Петроградского комитета РКП(б) волнения на заводах были объявлены мятежом. А на следующий день, 25 февраля, ввели в городе военное положение. Покатилась волна арестов.

В Петрограде аукнулось – откликнулось в Кронштадте...

Вадим родился в октябре того же страшного двадцать первого года. Роды были трудные. Если б не гинеколог Розалия Абрамовна, соседка со второго этажа, то, может, Вера не выжила бы. Рожала она дома. За стеной шла гулянка у Покатиловых, орали там пьяными головами: «Как родная меня мать провожа-ала, тут и вся моя родня набежа-ала...». Под эту лихую песнь и вытащила соседка-доктор Веру с того света. С еле слышным стоном роженица открыла закатившиеся было глаза, и Лев Плещеев бросился на колени – целовать свою Веруню, – но Розалия Абрамовна твердой рукой отстранила его: «Отойдите! Дайте ей отдышаться!» Из-за стены гремело: «Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты!» И проистекал оттуда душный чад жареной гусятины...

Так он, значит, и появился на свет – Вадим Плещеев. Детство его совпало с нэповским временем: Ленинград ожил, откуда ни возьмись появились за отмытыми от долгой войны витринами розовые языки ветчины, желтенькие волны французских булок. Сосед Покатилов, в пьяном виде склонный к шумному умилению, открыл торговлю туалетным мылом и зубным порошком. И вот еще важные приметы наступившего времени: сворачивал свою пугающую (и стреляющую) деятельность Комдезертир (то есть комитет по борьбе с дезертирством), и были, ну это как вздох облегчения, сняты с дорог и железнодорожных станций заградительные отряды.

Жизнь налаживалась. На Балтийском судостроительном заводе снова затрещали давно умолкнувшие клепальные пневматические молотки. Крупные корабли страна, разоренная войной, еще не тянула, куда там, молотков пневматических – и тех на заводе всего пять штук,

по одному винторезному и сверлильному станку, да и прочее оборудование, если и уцелело, то «процент годности» был никудышный. Иван Теодорович Регель, строитель кораблей, мотался по новым ведомствам, выбивал для завода лимиты электроэнергии, листовое железо, инструменты, – много тратил сил на преодоление некомпетентности, бюрократизма, а порой и хамства новоявленных начальников этих ведомств. Было время, он, выпускник политеха, увлеченно работал младшим помощником строителя линкора «Петропавловск». Теперь другое время настало. Истрепанный войной и разрухой флот – уцелевшие корабли – надо было капитально ремонтировать. Вот эскадренные миноносцы типа «Новик» – правильное принято решение об их ремонте, можно вытащить былых быстроходных красавцев с мертвых стоянок, новую вдохнуть жизнь в их ржавые корпуса. А дальше – внимание, внимание! – появился проект первенца советского кораблестроения – сторожевика «Ураган». С него-то и началось создание дивизиона хреновой (или как ее) погоды. «Новики», можно сказать, и не мечтали о такой энергетической установке, какой оснастили новые сторожевики: из двух котлов и двух турбозубчатых агрегатов.

То было начало звездного времени для советских корабелов. Иван Теодорович работал поистине с юношеским увлечением. Его голубые глаза, омертвевшие после смерти жены, снова наполнились жизнью. Он отрастил рыжую бородку. По вечерам у себя в комнате (в большой зале поставили перегородку, в одной комнате жили Плещеевы, во второй Иван Теодорович) он обдумывал какое-то новшество, рассчитывал, чертил. И вот однажды, с согласия конструктора, он на строящемся «Урагане» применил вместо обычной клёпки – сварку. Не удивляйтесь: во всем мире на стапелях тарахтели пневматические молотки, части корабельного набора соединяли заклепками. А тут, ниспровергая основы, рассыпала огненные искры сварка автогеном: приварили одну из палубных конструкций. Как раз в эти минуты поднялся на палубу командир будущего дивизиона, моряк бывалый и дотошный. «Эт-то что такое?» – сильно удивился он. «Новшество, – сказал строитель Регель. – Сварка вместо клёпки». «Да вы что, смеетесь? Я ваше новшество ногой соблю!» Иван Теодорович не успел его удержать. Командир дивизиона ударил ногой по свежесваренной конструкции – и заплясал от боли. С его ботинка слетела подметка...

Ворочал Иван Теодорович в толковой своей голове и другие идеи. А по субботним вечерам собиралась у него в комнатке теплая компания друзей-корабелов. Играли в умственную игру преферанс, пили чай, а то и портвейн, шутили, вспоминали былые времена.

Но жизнь, в которой плыли они, как в недостроенном корабле, опять наполнилась непредсказуемостью и тревогой. Куда-то подева-

лась советская дозволенная буржуазия – закрывались нэпманские лавки и рынки, снова возникла нехватка продуктов. Зато в двадцать девятом году появились карточки. Сосед по квартире Покатилов, распродав по дешевке весь зубной порошок, бессознательно пил три недели, а потом, опохмелившись чем-то едким, пошел туда, откуда и вышел, – в слесари-водопроводчики домоуправления.

После убийства Кирова в декабре тридцать четвертого покати-лась по Ленинграду новая волна арестов. Докати-лась и до Балтийского завода. В одну из длинных февральских ночей взяли Котова Бориса Кузьмича. Игры в преферанс у Ивана Теодоровича прекратились. Он помрачнел, осунулся. Уже не с прежним тщанием подстригал квадратную седеющую бородку. За вечерним чаем, если Вера спрашивала, как идут дела на заводе, Иван Теодорович отвечал неохотно и коротко: «Работаем. Клепаем». Иногда обращался к зятю: «Что нового в мире, Лева? В Греции что, опять военный переворот?» Плещеев отвечал развернуто, но Иван Теодорович слушал без интереса. Допивал чай, говорил: «Спасибо, Верочка», – и уходил к себе.

А однажды попросил дочку уложить в небольшой чемодан «минимум необходимого».

– Что ты имеешь в виду? – встревожилась Вера.

– Ну, теплые носки, три смены белья, зубную щетку...

– Папа! – вскричала Вера. – Что у вас происходит на заводе?

– То же, что и во всем городе, – ответил Иван Теодорович. И, слегка усмехнувшись, добавил: – От судеб защиты нет.

Вот уж точно это сказано классиком. Наверное, ОГПУ занесло уже инженера Регеля в свои черные списки, но судьба – да, да, именно она – распорядилась иначе.

Темным октябрьским утром Иван Теодорович включил переносную лампу и, волоча ее на длинном шнуре, полез через узкую горловину в междудонье строящегося судна. Грызло его беспокойство, что в днищевом наборе что-то неправильно сварено. Он полз, метр за метром, сквозь узкие лазы, светя на вырезы переносной – и вдруг переноска погасла. Черт знает почему. Может, там, на палубе, кто-то случайно выдернул вилку. Иван Теодорович, с трудом развернувшись, пополз назад, но воротником ватника на затылке зацепился за что-то – за стальные заусенцы, должно быть. Попытался освободиться, но зацепился еще и хлястиком. Тут покрашено было недавно, от острого запаха краски голова разламывалась. Он барахтался в дикой тесноте. Междудонье держало крепко. Кричать не было смысла: никто не услышит, наверху грохотали клепальные молотки. Освободить ватник либо выпростаться из него Иван Теодорович не сумел – потерял силы, задохнулся. Когда его спустя два часа вытащили из междудонья, было уже поздно.

А что Лев Плещеев?

А вот что. Вскоре после подавления кронштадтского мятежа ушел он с морских курсов. Сам товарищ Зиновьев, предводитель ленинградских большевиков, санкционировал переход способного молодого журналиста в «Красную газету». Своими пылкими карими глазами Плещеев всматривался в новую жизнь, ища в ней, по его словам, животрепещущий материал. С годами он сделался видным очеркистом «Ленинградской правды», издал две книги очерков (одна – об ударном строительстве Хибиногорского комбината) и вступил в РАПП, а впоследствии в Союз советских писателей.

Его первая книга открывалась большим очерком «Даешь Кронштадт!», в котором было много революционной патетики, описаний героизма красных бойцов и много презрения к мятежникам (и особенно – к вожакам мятежа, удравшим по льду в Финляндию и избежавшим заслуженной кары).

Ярко лег на бумагу этот очерк, и не будет преувеличением упомянуть, что его автор Лев Плещеев приобрел в Ленинграде репутацию героя исторического штурма. Он любил повторять фразу из поэмы поэта Багрицкого «Смерть пионерки», напечатанной в журнале «Красная новь»: «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед».

Да, любил поэзию журналист (а потом и писатель-документалист) Лев Плещеев. Нельзя, однако, обойти стороной *одно обстоятельство*. Болезненно отдавалось в памяти, как при первом – неудачном – штурме он, Лев Плещеев, постыдно струсил на льду под огнем кронштадтских пушек, в перебегающих лучах прожекторов, – да, струсил и побежал назад, но был остановлен и едва не расстрелян ротным командиром. Дал себе слово Плещеев, что никогда – никогда! – такое малодушие не повторится. И слово держал. Даже когда поехал в тридцатом году в область описывать сплошную коллективизацию и вместе с провожатым милиционером попал под кулацкий обстрел на выходе из одной деревни, даже тогда он не позволил себе *впасть в трусость* и побежать в укрытие – ближайший сарай. Просто упал ничком на сырую после дождя землю и лежал, прикрыв голову руками, пока милиционер отстреливался из нагана.

Во время той поездки навестил Лев Плещеев в Олонце своих родителей. У них были неприятности в ходе жизни. Мама, Софья Ивановна, потрясенная закрытием церкви, слегла совсем больная: у нее руки дрожали и голова мелко тряслась. Сам же Василий Евтропович Плещеев имел сильные расхождения по вопросу коллективизации с председателем волисполкома, человеком хоть и заслуженным в Гражданской войне, но малограмотным и крайне грубым.

– Выучил одну фразу: «Я творю волю партии» и твердит ее, как попка-дурак, – говорил старший Плещеев сыну, когда после обеда, выпив по стакану самогона, вышли они покурить на поросший ивняком берег реки Олонки. – Я ему толкую: нельзя отрывать от земли Шестаковых и Черновых, никакие они не кулаки, а трудовые земледельцы. А он бухает кулаком по столу, глаза навывкате, и орет: «Творю волю партии! Классовым врагам нет пощады...» Что же это творится, Лёв Васильич?

Так он сына называл: «Лёв Васильич». А что же мог отцу ответить Лёв Васильич? Хотя и был он видным к тому времени журналистом, но не мог же заступиться за классового врага кулака. Его другое беспокоило: отец заметно сдал. *Голос* потерял Василий Евтропых. Сутулясь больше обычного, осипшим, лишенным звука голосом рассказывал о неприятностях текущего момента.

– Послушай, отец, – прервал Лев его напряженный шепот, – тебя надо врачу показать. Давай-ка я повезу тебя в Питер.

– Чего я там не видел, – просипел землемер. – Как я мать тут оставлю?

– Тетя Таня за мамой присмотрит. А ты поживешь у меня...

– Не поеду. Дай-ка еще папиросу. У нас «Казбек» не бывает.

– Да на одну неделю всего, – уговаривал Лев. – Отец, надо хорошему врачу показаться. Прошу, не упрямясь.

Но землемер Плещеев наотрез отказался ехать в Ленинград.

Дед Василий умер от рака горла летом тридцать второго года.

А осенью тридцать пятого умер – задохнулся в междудонье строящегося корабля – другой мой дед, Иван Теодорович.

Накануне, в сентябре того же тридцать пятого, от нас с мамой ушел отец. Точнее: мама его прогнала. Трудно мне дается это воспоминание...

Знаете, я гордился отцом. Он был в Питере в некотором роде знаменитостью. Ну как же, герой штурма мятежного Кронштадта. Рыцарь карандаша и блокнота, Лев Плещеев хотел все увидеть и обо всем написать. Мне нравились его очерки о стройке в Хибинах, у подножья горы с романтическим названием Кукисвумчорр, огромного апатитового комбината. Здорово писал отец и о строительстве сторожевых кораблей для возрождающегося Балтфлота, и о первых советских подводных лодках.

Мама посмеивалась, глядя на нас: «До чего вы похожи». У отца была огромная шевелюра табачного цвета и пылкие карие глаза (с годами он стал носить очки, но, так сказать, температура взгляда держа-

лась на высокой отметке еще долго). Цветом волос и глаз я, и верно, похож на отца, да и походкой, слегка косолапой, тоже. Тут генетика сработала точно. Но не было у меня гена победоносной манеры держаться, столь характерной для отца. Ну да ладно.

Еще объединяла нас с отцом склонность к шуточкам, иногда, по мнению мамы, неуместным. И, конечно, интерес к морю, к флоту. Отец собрал неплохую библиотеку морских романов, я их все перечитал – «Двадцать тысяч лье под водой», «Труженики моря», «Фрейя семи островов», «Остров сокровищ», «Мичман Изидор», «Фома Ягненок», и особенно любимые книги Грина, и «Соленый ветер» Лухманова. Мы с Оськой Виленским, соседом со второго этажа, обменивались книгами и марками, играли в военно-морской бой. Когда учились в десятом классе, увлеклись греблей, – в яхт-клубе нас закрепили в команде одной из «шестерок», мы ходили на веслах по Неве и несколько раз под парусом выходили в Финский залив.

Оська был сыном гинеколога Розалии Абрамовны и профессора-искусствоведа Михаила Лазаревича Виленского. Знаете выражение: не от мира сего? Вот таким человеком был этот профессор. Всегда в черном костюме и черном галстуке, повязанном вокруг стоячего воротничка, с седой щеточкой усов, он, казалось мне, жил не в нашем беспокойном двадцатом веке, а черт знает когда – в Древней Греции, да и еще древнее, в минойскую (или крито-микенскую) эпоху. «Здрасьте, Михал Лазарич», – говорил я при встрече. Он вскидывал на меня взгляд бледно-голубых глаз и отвечал: «А, это ты, быстроногий ристатель». Я однажды спросил, почему он меня так называет. Профессор тронул одним пальцем усы и сказал, что в мои годы уже следует прочесть «Илиаду», а не бегать по чердакам. Ну, я вообще-то не бегаю по чердакам...

То есть, конечно, я понял, что имел в виду профессор. Оська однажды стащил из его кабинета страшную маску разъяренного быка и привязал к голове, а я нацепил маску кабана, и мы, завывая, вкатились на четвереньках в полутемный чердак нашего дома в ту минуту, когда там развешивала выстиранное белье Клавдия, крикливая жена слесаря Покатилова. Она завизжала от страха на весь Васильевский, но в следующий миг выхватила из таза мокрое полотенце и накинулась на нас, выкрикивая известные слова. Конечно, Покатиловна (так мы называли ее) нас узнала и нажаловалась и моему, и Оськиному отцу.

Оська был склонен ко всяческим проказам. Таких, как он, бузотеров называли *стрикулистами*. Этимология этого слова мне не ясна, ну да ладно. От Райки не раз я слышал, что у Оськи несомненный музыкальный талант. Он хорошо играл на скрипке. Во время игры – я видел – Оська преображался, дурашливая улыбочка улетучивалась,

он поджимал толстую нижнюю губу, а в глазах возникало как бы удивление красотой звука, извлекаемого из скрипки.

Оба они, Оська и Райка, кроме музыки, обучались и немецкому языку, дважды в неделю ходили на уроки к частной учительнице.

Однажды Оська наткнулся в телефонной книге на фамилию Зайчик. Он прибежал ко мне, и мы, недолго думая, позвонили. «Это Зайчик?» – спросил Оська. «Да», – ответил обладатель замечательной фамилии. «Пиф-паф!» – крикнул Оська. Мы захохотали, два жизнерадостных дурачка. С того дня это стало нашей игрой. «Это Зайчик? – говорили мы в трубку. – Пиф-паф!» Неведомый Зайчик сердился, обзывая нас болванами, кретинами, но знаете, никогда не матерился.

Между прочим, я внял совету Михаила Лазаревича и прочитал «Илиаду». Она шла трудно, я спотыкался об архаические слова и обороты гнедичевского перевода, о бесконечное множество имен ахейских и троянских героев. Но, странное дело, постепенно я как бы вписался в торжественное течение поэмы. Как не восхититься, читая, например:

*Так, ополчившись пышноносящей медью, данаи
Двинулись; их предводил Посидаон, колеблющий землю,
Меч долголезвенный, страшный неся во всемогущей деснице,
Равный молнии пламенной...*

Прямо глазам больно от пышноносящих медью доспехов данайцев, ахейцев, грозно идущих, ряд за рядом, в бой.

Кто теперь так пишет, как старик Гомер? Никто.

Знаете, я попробовал описать гекзаметром давешнее происшествие на чердаке:

*С визгом ужасным к нему прибежала
Клавдия, гнусная сплетница, дочь Поликарпа,
Клязу новую тщилась затеять, в оную впутав
Тучегонителя, славного Лазаря сына...*

Оська показал мои каракули отцу. Михаил Лазаревич подозвал меня и сказал, трогая пальцем седые усы:

– Ты сочинил неплохо. Есть чувство стиля. Но ты должен знать, что у Гомера – прикрепленные эпитеты. Ахилл и Аякс – быстроногие, Гектор – шлемоблещущий. А тучегонитель – только Зевс. И никто больше. Ты понял?

Я понял. И, так сказать, прикрепил эпитеты: Оську стал называть «крутовойный Иосиф», а Райку – «румяноланитой девой». Они были близнецами, правда, Оська уверял, что старше Райки на семнадцать минут, а Райка возражала, говорила: «Трепись!»

Райка, и верно, имела на полных щечках румянец, ей это ужасно не нравилось, она вообще была полна противоречий. Училась в музшколе на фортепьянах, но вдруг объявила, что ей это надоело. Мама, Розалия Абрамовна, всполошилась: как так, у тебя способности, абсолютный слух! (В еврейских семьях принято, чтобы дети непременно учились музыке.) «Буду учиться на флейте!» – заявила капризная Райка.

Я сочинил:

*Дева румяноланитая, как же ты можешь
Вместо кифары прекраснозвучащая
Дудку простую приставить к губам?*

Райка засмеялась, когда я продекламировал свое сочинение, потом насупилась и потребовала, чтобы я перестал называть ее глупым словом «румяноланитая». Но я все же иногда называл, дразнил. Она, вспыльчивая, накидывалась на меня, размахивая кулачками и крича: «А ты дурак!»

Не знаю, как к музыке, а вот к шахматам у Райки точно были способности. В старших классах она вдруг стала здорово играть. Обыгрывала не только Оську и меня, но и сильных ребят из других классов, и в межшкольных турнирах брала призовые места. Это странно. Женщины в шахматы играют хуже мужчин. Если не считать Веру Менчик, конечно.

Вы, наверное, заметили: только я подступлюсь к описанию главного события нашей довоенной семейной жизни, как отвлекаюсь... ухожу в сторону...

Трудно мне дается этот сюжет.

Ладно, приступаю скрепя сердце.

У нас была хорошая семья. Мама заведовала детской библиотекой, вечно бывала озабочена устройством литературных вечеров, приглашала поэтов, пишущих для детей, – ну и все такое.

Отец часто работал дома. В редакции, говаривал он, трудно сосредоточиться, много трепотни. Свои очерки он писал дома – тут никто ему не мешал.

Я приходил из школы, отец отвлекался от писанины, спрашивал: «Ну, сколько двоек сегодня притащил?». «Девятнадцать», – отвечал я и шел мыть руки. Мы с отцом доставали с широкого законного карниза кастрюли с едой, приготовленной мамой (холодильников в те поры еще не было), и обедали, перебрасываясь шуточками. Потом я убегал в яхт-клуб или в школу на волейбольную тренировку, отец же возвращался к сочинительству.

А вечером, когда вся семья собиралась, по выражению отца, за пиршественным столом, наступало прекрасное время. Обсуждали дневные происшествия, мама жаловалась на дуру-методистку, дед вспоминал что-либо из событий давних времен.

– Вот ты закурил любимый «Казбек», Лева, – говорил дед, отпивая чай из стакана, сидящего в старинном серебряном подстаканнике. – А знаешь ли ты, как трудно начиналось курение табака в России? При царе Алексее Михайловиче оно было строго запрещено. Если кто попадался курящим в первый раз, то получал шестьдесят ударов палкой по пяткам. Попадешься второй раз – отрежут нос или ухо.

– Ничего себе! – Отец засмеялся и стряхнул пепел с папиросы мимо пепельницы. – Хорошо, что мы не в семнадцатом веке живем.

– Да, – сказал дед. – А в восемнадцатом Россия задымила. Петр велел курить табак, на ассамблеях в Питербурхе дым стоял коромыслом.

Мама спросила:

– А если баба курила, ее что – тоже палкой по пяткам?

– Не думаю, – ответил дед. – Хотя кто их знает...

– Есть наглые бабы, которых надо колотить по пяткам ежедневно.

– Ну зачем так безжалостно?

– Затем, что не только курят, но и лезут к женатым мужчинам, – сказала мама, метнув в отца быстрый взгляд.

Ее огромные голубые глаза темнели, когда мама чем-то бывала недовольна. И тонкий ее голос как бы терял звучность, в нем появлялось нечто... не знаю... что-то сварливое...

Уж не помню, в тот ли вечер или в другой я, вычистив зубы, проходил через комнату родителей в свою (то есть в кабинет деда, где я спал на старой кушетке) и услышал, как мама бросила отцу странную фразу: «И вообще закрой свой курятник!» Должно быть, у них происходил острый разговор, суть которого («курятник!») я понял позже, когда события разыгрались в полную силу.

Вы догадались, конечно, в чем тут дело. Ну да, отец был весьма неравнодушен к прекрасной половине человечества. Дух времени, что ли, был такой. Старый мир порушен, из пролитой большой крови, из голода, из гибели, грозящей отовсюду, рождается новая жизнь, – так не упusti свой шанс, ухвати то небольшое, что еще осталось из радостей быстротекущей жизни...

Мамина сотрудница по библиотеке, хромоножка Мальвина, в Александринке, не помню уж, на каком спектакле, в антракте вышла в фойе и увидела моего отца с известной в Ленинграде поэтессой Людмилой Семенихиной. Они стояли, курили, отец ей что-то рассказывал. Семенихина, крашенная блондинка, в очень пестром креп-жор-

жетовом (по мнению Мальвины) платье, громко смеялась и вообще держалась вызывающе.

Когда отец, спустя два дня, вернулся домой, мама спросила, где он был.

– Ты же знаешь, – сказал он, – в командировке, в Кронштадте.

– Врешь! – выкрикнула мама, ее глаза потемнели, как предгрозовое небо. – Ты был у Семенихиной!

– Вера, перестань...

Отец кивнул на меня (я только что пришел из школы и уселся за стол в ожидании обеда).

– Вадим уже не младенец, и нечего скрывать от него, что ты подлец и изменник!

Отец отвернулся. Он стоял и молчал, а мама кричала не своим голосом:

– Развратник! Мне надоели твои похождения! Убирайся к своим бабам! Видеть тебя не могу!

– Вера, успокойся, – просил отец. – Да, я виноват, но давай разумно...

Но мама бушевала; из-под черной, с проседью, челочки, закрывающей лоб, рвалась гроза; обычно тихий голос обличительно гремел на весь Васильевский:

– Разумно! Я разумно молчала десять лет... просила прекратить курятник... опомниться... Нет! Всё кончено! Больше не могу! Сегодня же... Убирайся!.. Чтоб ноги твоей здесь больше...

Я тоже не мог больше слушать ужасный этот разговор. Выскочил из комнаты, едва не опрокинув идущего из уборной Покатилова. Он обругал меня матом. Промчавшись по коридору, я сбежал вниз, во двор, где мальчишки гоняли мяч, и дальше, дальше, куда глаза глядят... по 4-й линии, вокруг Академии художеств... В Румянцевском сквере было малоллюдно, вот и хорошо, я бросился на скамейку близ фонтана.

Фонтан, как всегда, не работал. В его бассейне, закиданном сухими ветками и прочим мусором, прыгали, чирикавая, воробьи. С набережной тренькали звоночки трамваев. Жизнь шла, несмотря ни на что. Невозможно было себе представить ее без отца. Родители! – взывал я сквозь слезы (да, да, первый раз в жизни я плакал), – с ума вы сошли?!

– Мальчик, кто тебя обидел? – вдруг спросил с соседней скамейки пожилой очкастый дядя, читавший газету.

– Никто, – буркнул я и пошел вон из сквера.

Странно: будто не этот старикан меня окликнул, а кто-то сверху... Уж не сам ли полководец Румянцев с высоты своего обелиска?..

Я долго шлялся по Васильевскому острову. В голове бродили дикие мысли. Влепить пощечину отцу, крикнув: «Это тебе за преда-

тельство!».. Убить поэтессу Семенихину... С криком: «Не хочу с вами жить!» сигануть в Неву...

Когда я пришел домой, мама сидела на диване и разговаривала с Розалией Абрамовной. Я подумал: вот, соседка, врач, пришла успокоить маму. Но, кажется, было как раз наоборот. Мама выглядела обычно – то есть спокойной деловитой женщиной, знающей, как управляться с заботами дня. Словно ее не была истерика три часа назад. А вот у Розалии Абрамовны крупное толстощекое лицо выглядело необычно: черные полосы бровей домиком кверху, глаза мокрые, – никогда я не видел эту сильную, несколько мужеподобную женщину такой – растерянной, что ли...

– Роза, извините, – сказала мама, – мне надо Диму покормить.

– Это вы меня извините, Верочка. – Розалия Абрамовна, вытирая глаза платком, поднялась с заскрипевшего дивана. – Очень, очень жаль, что у вас... Ну, может быть...

– Надеюсь, Роза, – перебила ее мама, встав, – что все у вас наладится. Привет Михал Лазаревичу.

Как ни в чем не бывало она разогрела на кухне обед, принесла на подносе и налила мне гороховый суп с кусочками мяса. И села напротив, подперев ладонью сухую щеку. Как бы издали взгляделась в меня, а потом сказала:

– Тебе надо постричься. – И без всяких подготовительных слов: – Дима, нам теперь придется жить без него.

Я отложил ложку. Не шел мне в горло суп.

– Я делала все, чтоб сохранить семью. Терпела. Просила не держаться этой сволочной новой морали, ну ты знаешь, наверно, – чтобы все было так же просто, как выпить стакан воды...

За окнами вдруг стало быстро темнеть. Дождевые тучи накрыли Васильевский остров, в стекла забарабанил дождь.

– Так вы что же, разведетесь? – спросил я.

– Никакого развода не будет, потому что наш брак не оформлен. Тогда это не было нужно. Теперь другое время, браки регистрируют в загсе. Но мы так и не удосужились... Что-то я не то говорю... – Мама отвернулась к окну. – Какой ливень! А дед ушел утром без зонтика... Погоди, Дима, съешь вот рыбную котлету.

– Не хочу, – сказал я, роясь в своем портфеле. – Оська, черт, утащил Фалеева и Перышкина...

– Что утащил?

– Учебник по физике. Спустишь к нему.

– У Виленских переполох, – сказала мама, звякая тарелками по подносу. – Михал Лазаревичу завернули из издательства рукопись книги.

– Почему?

Я знал, что у профессора Виленского принята к изданию книга об искусстве Древней Греции, большой десятилетний труд, можно сказать – итоговый.

– Узнал, что из Эрмитажа продали двадцать картин. Рембрандта, Рубенса, Боттичелли.

– Кому продали? – недоумевал я.

– Каким-то американским миллионером. И европейским. Португальцу какому-то.

– Ничего не понимаю. Зачем продавать такие картины?

– Не знаю. Правительству деньги, наверно, нужны. Михал Лазаревич узнал и – ну, отрицательно высказался. На каком-то академическом собрании. На лекции в университете тоже сказал, что нельзя распродавать шедевры искусства. А теперь, накануне учебного года, его вызвали в ректорат и предложили подать заявление об увольнении. По состоянию здоровья.

– Его уволили? Оська мне ничего...

– Близнецам велели молчать. Хорошо хоть, что в Академии художеств пока его не тронули.

– Что значит – пока? Он в академии всю жизнь читает про античное искусство.

– Пока не тронули. Роза Абрамовна так сказала. Она страшно встревожена. Вчера Михал Лазаревичу позвонили из издательства, что расторгнут договор. Она прибежала с отцом посоветоваться... можно ли через газету помочь...

Вот как: к отцу пришла. А отца – нет. Мама его прогнала. Как же это... нет и не будет?.. Чертовщина какая-то...

Мама вдруг прижала мою голову к своей щеке.

– Димка, ты прости... прости нас, что так нехорошо, некрасиво... Пойми, пойми, я долго терпела, но уже просто невозможно...

– Понимаю, мам, понимаю. – Я гладил ее по худенькой спине. – А отцу никогда не прощу.

Она отшатнулась, всмотрелась в меня.

– Нет, Дима, так тоже нельзя. Он же отец, он любит тебя, вы должны встречаться и...

– Не прощу, – повторил я упрямо. – Предательство не прощают.

Спустя месяц умер дед – задохнулся на строящемся корабле. Никогда не забуду, как рыдала над его гробом мама. Вселенский плач – кажется, так называется это...

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая	
От судеб защиты нет	6
Глава вторая	
Вадим Плещеев влюбился	29
Глава третья	
Курсантская бригада вступила в дело	56
Глава четвертая	
Травников в боях на море и на суше	75
Глава пятая	
«Вам не видать таких сражений»	127
Глава шестая	
Гора Колокольня	145
Глава седьмая	
Рейд по финскому тылу	163
Глава восьмая	
Лиза	179
Глава девятая	
Кампания сорок второго	200
Глава десятая	
Сенечка	207
Глава одиннадцатая	
Лодки первого эшелона вышли в море	219
Глава двенадцатая	
«Ты сохранишь свой скальп»	238
Глава тринадцатая	
Встречи в Кронштадте	247
Глава четырнадцатая	
Штурман Плещеев в боевом походе	252
Глава пятнадцатая	
Аландское море	264
Глава шестнадцатая	
Головная боль от Финского залива	273
Глава семнадцатая	
Объяснение в любви под обстрелом	289
Глава восемнадцатая	
Опасное знакомство в Хельсинки	294
Глава девятнадцатая	
Кронштадтский лед	312
Глава двадцатая	
Дочь мятежника	376
Глава двадцать первая	
Тихая Суоми	402

Глава двадцать вторая	
Еще один лагерь.....	433
Глава двадцать третья	
«Невозможно жить с раздвоенной душой».....	450
Глава двадцать четвертая	
Мирное время – всюду перемены.....	475
Глава двадцать пятая	
«Дело Кузнецова» – что это?.....	490
Глава двадцать шестая	
Письма.....	514
Глава двадцать седьмая	
Время без Сталина.....	519
Глава двадцать восьмая	
Банка Штольпе.....	536
Глава двадцать девятая	
«Слушать в отсеках!».....	553
Глава тридцатая	
Прощание с Травниковым.....	561
Глава тридцать первая	
Nil admirari.....	574
Глава тридцать вторая	
Боголюбов.....	586
Глава тридцать третья	
«Лебединое озеро» в девяносто первом году.....	597
Глава тридцать четвертая	
Разошлись наши дороги.....	604
Глава тридцать пятая	
Гибель Галины.....	615
Глава тридцать шестая	
Расстрельная волна на Балтике.....	623
Глава тридцать седьмая	
Досрочный отъезд из Светлогорска.....	630
Глава тридцать восьмая	
Отчаяние.....	637
Глава тридцать девятая	
Пишу мемуары.....	657
Глава сороковая	
«А годы летят».....	670

Литературно-художественное издание

Войскунский Евгений Львович

БАЛТИЙСКАЯ САГА

Роман

Редактор *Н.В. Комарова*

Дизайн: *А.П. Зарубин*

Технический редактор *И.К. Лобан*

Корректоры *О.В. Круподер, В.А. Нэй*

Подписано в печать 29.08.2018 г.

Формат 60×90/16. Гарнитура Минион

Печать офсетная. Печ.л. 43 л.

ООО «Издательство «Этерна»

115477, Москва, Кантемировская ул., 59а

Тел. (495) 755-81-23

E-mail: info@eterna-izdat.ru

www.eterna-izdat.ru